# Содержание

Предисловие
7
Смерть эротомана
13
Голова
19
Вой
37
Восьмой этаж
53
Перелётный
65
Дела житейские
79
Случай в Кузьминках
95

Весельчак
109
Нега жизни
123
Река жизни
141
На этом свете
155
Читатели
163
По фигу
169
В гостях
193
День рождения
211

# Предисловие

В этой книге собраны совсем поздние, последние рассказы Юрия Мамлеева, написанные после окончательного возвращения в Россию и опубликованные в народившихся светских журналах. Таким образом, после советского, американского и французского периодов творчества можно выделить и условно российско-глянцевый его этап.

Мамлеев в новом русском пространстве — это особая тема. В этих рассказах упоминаются «юноши с осторожными ушами» и «один философствующий старичок с двадцать первого этажа».

Мамлеев в последние годы и сам был таким философствующим старичком, правда, не с двадцать первого, а десятком этажей пониже, — во второй половине девяностых он как раз читал в гуманитарном корпусе МГУ лекции по индийской философии. Их как раз посещали вышеуказанные юноши с осторожными ушами, среди которых был и я.

Последние рассказы Мамлеева, в общем, выдержаны в фирменном стиле. Их населяют привычные эндемические для России персонажи, дети и внучки шатунов, которые полюбили носить

в себе смерть и хохочут во сне. Эти «будущие обитатели ада» избегают зеркал, желают почему-то зарезать или зарубить луну (навязчивый мотив сразу двух рассказов, а в третьем рассказе луну видят во сне, а в четвёртом возникает идея двух лун — что может служить отсылом к старому образу Стриндберга), беспрерывно воют, вешаются у плиты над супом, и вместо женщин у них — бездна. Ну или в крайнем случае они ищут неких бессмертных баб.

Памятный образ куротрупа в новых рассказах аукается дважды — в «Перелётном» человек превращается в курицу, в «Делах житейских» просто кукарекают.

Сказать, что новые рассказы слабее или халтурнее классических мамлеевских, не получается — хватка чувствуется везде: что в великой фразе «Он запил, да так, что непрерывно пил всю оставшуюся жизнь и после смерти тоже», что в сравнении «Даже в уборную он входил, как в античный храм», что в персонаже, «похожем на мёртвый член». Рассказ, где фигурирует данный персонаж, к слову, был напечатан в издании с соответствующим названием «Империя духа» (одна из колонок тамошнего главного редактора ставила вопрос ребром — «Можно ли стать Богом?»).

Вообще, подписи и даты под этими рассказами обладают отдельной сокрушительной ценностью и в полной мере вписываются в мамлеевский универсум. Согласитесь, когда последняя фраза гласит «Он был мёртв», а дальше следует подпись «*Playboy*, 1996 год» — это сразу формирует какой-то

дополнительный вопросительно-восклицательный знак неусваиваемого безумия.

Притом что никаких специальных примет времени в этих рассказах нет — они вполне могли быть написаны и в Москве эпохи Южинского, и в Нью-Йорке, из чего нетрудно сделать вывод, что хронотоп Юрия Витальевича мало зависит от календарных перегибов. О том, что дело происходит в относительно новом периоде русской истории, свидетельствуют какие-то мелочи — так, в двух рассказах почему-то фигурируют поездки в Южную Америку, где-то всплывает тема психоанализа, звучит слово «киллер», попадаются скупые пассажи вроде «Реформы 90-х годов её так же, как и всех, задели, она потеряла работу, но в противоположность многим могла устроиться на другую» или «Был он, между прочим, неплохим бизнесменом, мелким, конечно, но на жратву хватало».

Однако высший пилотаж своих отношений с современностью Юрий Витальевич продемонстрировал в процессе написания рассказа для журнала «Афиша». Получив в своё время текст «Случай в Кузьминках», редакция обнаружила в нём самый трогательный образец литературного продакт-плейсмента: «А тут ещё жена остановила его. “Ты стой здесь, а я перебегу улицу и куплю в том киоске «Афишу», журнал, — сказала она уверенно. — Ведь ты улицу перебегать избегаешь. Реакции у тебя нет. Стой здесь”».

Мне посчастливилось общаться с Мамлеевым как раз в конце девяностых и на протяжении всех нулевых — и, соответственно, был счастлив приложить руку к публикации некоторых из приведённых тут рассказов, тем более что всякий раз это становилось вполне отдельным мамлеевским сюжетом.

Упомянутый выше журнал *Playboy* тогда располагался в обширном здании недалеко от метро «Водный стадион» под патронажем могущественного концерна Independent Media. Мы сидели на шестом этаже. И вот приезжает Мамлеев с портфелем — в портфеле конверт, в конверте — рассказ, или «рассказик», как он сам их величал. Мы к тому времени были уже достаточно неплохо знакомы — он даже всерьёз хотел, чтобы я написал про него книгу, но я по молодости и глупости постеснялся.

Я оформляю акт сдачи-приёмки, потом мы выходим поболтать в коридор. Юрий Витальевич намекает, что не за горами уже и новый рассказик, а я в свою очередь пытаюсь как-то донести до него нехитрую мысль о том, что не можем же мы в самом деле печатать его ежемесячно. Получается у меня плохо, и тема грядущего рассказика по-прежнему висит в воздухе. Чтобы как-то соскочить с неё, я ссылаюсь на неотложную работу и начинаю пятиться к компьютеру.

— Идите, идите, — машет руками ЮВ, — а я покамест съезжу на второй этаж.

— А зачем же вам на второй этаж? — оборачиваюсь я на ходу.

— А у меня, знаете ли, там ещё встреча.

— Это с кем же?

— А с Максимом Семеляком, — отвечает мне пастух шатунов и с плохо скрываемой радостью следит за моей реакцией.

— Ну что ж, — говорю, — передавайте ему привет, что ли.

— А, непременно передам, непременно, — подмигивает Мамлеев и скрывается в лифте, а я немедленно чувствую себя персонажем его же рассказика.

Поздний Мамлеев воспринимался как носитель не столько потустороннего ужаса, сколько потустороннего же хохотка и мягкого, почти увеселительного морока. Как сказано в одном из поздних рассказов, «Выпьем за то, чтобы наше веселье раздулось до величины Вселенной, — произнёс вдруг Матёров, — пусть даже мы лопнем, лишь бы веселье осталось! В этом секрет!»

Этот хохоток и его «секреты» были в высшей степени характерны для эпохи ранних нулевых, особенно для её московского гамбита, — не случайно само слово «хтонь» стало тогда достаточно дежурным и вошло в обиход искомой глянцевой журналистики.

Многие бывшие соратники ЮВ по южинской и иным концессиям были этим обстоятельством крайне смущены и почти оскорблены — мол, Мамлеева в эмиграции подменили, нет былой матёрости, и девочки действительно стали читать Мамлеева — в полном соответствии со старинной картиной Владимира Пятницкого, казавшейся во времена Южинского совершеннейшей утопией.

В мамлеевском шок-контенте всегда присутствовало известное сладострастие и поражающий уют. В последних же его творениях всё это приобрело совсем какой-то фамильный и усадебный характер. К слову — представьте, что именем того или иного писательского авторитета той поры была бы названа некая деревня — не получится такой производной ни от Пелевина с Лимоновым, ни от Сорокина с Шишкиным, ни от Пепперштейна с Иличевским.

А вот деревня МАМЛЕЕВКА — звучит идеально, и именно в этом дремотном ключе и следует воспринимать последние рассказы великого сказочника, в которых ужаса, убеждён, не меньше, чем глумления над собственно читателем.

Когда в середине нулевых в очередной раз переиздавались «Шатуны», Юрий Витальевич сам написал к ним предисловие и в некотором смысле продемонстрировал мастер-класс того, как это надо делать.

Предисловие простиралось на полторы странички.

Треть из них занимала хвалебная цитата из не обременённого славой американского писателя. И венчала всё умопомрачительная кода, лучше которой нам не сочинить, поэтому просто с улыбкой склонимся перед её величием:

«Думаю, каждый читатель сможет ответить на некоторые эти вопросы, если углубится в самого себя».

*Максим Семеляк*

# Смерть эротомана

**Playboy** 7, 1996

На отшибе Москвы среди изрезанных улочек с маленькими домишками и длинными бараками стоит, как величественная, холодная тюрьма посреди моря, огромное жёлтое шестиэтажное здание. Это институт и общежитие для студентов. С трёх сторон к нему подходят извильные, грязные, уводящие в пропасть бараков дороги. Три деревца, как чахлые, слабоумные невесты с венком птиц на голове, окружили здание. А в небе постоянными были только чёрные крики метущихся в разные стороны ворон.

Все обитатели здесь делились на местных и студентов. Студенты казались местным злыми, учёными и нахальными. «Мы никогда не будем так хорошо жить, как они», — говорили про студентов. Местные же казались студентам лохматыми, придурошными и страшными, от которых надо бежать. Особенно пугали их чёрные дыры бараков и дети. Дети купались в вёдрах воды, снимали друг с друга штанишки. Студенты учили книги на заборах, прыгали по крышам сараев. Обе стороны шарахались друг от друга, как от непонятного.

Однажды весной в один из домишек около общежития въехала семья. Почти никто не обратил на это внимания всерьёз, просто вместо одной семьи стала размахивать руками и находиться перед глазами всех другая семья.

Тем более не бросился в глаза младший член этой семьи — семнадцатилетний полоумненький, каким его считали, Ваня. Иногда только смеялись над ним.

Это был длинно-тонкий юноша с мягкой, нежной головой и осторожными ушами. Походка у него была тихая, крадущаяся. Даже в уборную он входил, как в античный храм.

Вполне полоумненьким его назвать было нельзя — скорее «не замечающим». Он действительно «не замечал» многое из того, что происходит вокруг. Он мог позабыть покушать, позабыть осмотреться кругом. Но зато хорошо вырезал бабок из дерева. Учился Ваня плохо, но не то чтобы по глупости, а по равнодушию; из предметов же обожал зоологию, особливо анатомию мелкокостных. Людское общество он любил, но только молчком. Постоит, постоит где-нибудь около кучки ребят — и тихо уйдёт, как будто его и не было.

Никто не знал, чем жил Ваня. А кроме самосозерцания, он жил вот чем. Каждый вечер, когда темнота поглощала окрестности, как брошенную комнату, Ваня пробирался к институту. Ловкий и жизнестойкий, он по трубам и остаткам лестницы влезал на карниз четвёртого этажа. Там до поздней ночи светилось окно: то было женское общежитие.

Ваня пристраивался на широком карнизе, удобно прижавшись к трубе, и долго, часами смотрел внутрь. Он даже не испытывал оргазм при этом: половое влечение у него было мутное, широкое, непонятное для него самого и всеобъемлющее. Ему хватало того, чтобы просто смотреть.

Странные мысли роились в его голове. Все девочки, особенно раздетые, казались ему необычайно интеллигентными. Несмотря на то что они всего лишь ходили или лежали, ему казалось, что они вечно пляшут.

«Откуда такое кружение», — недоумевал он.

У него было несколько состояний; это зависело от того, какие мысли ему приходили в голову, пока он лез по трубе к девочкам.

Часто ему внутри себя слышалось пение: иногда странно болело сердце из-за того, чем кончится всё то, что происходит внутри, за окном.

«Миленькие вы мои», — часто называл он их, прослезившись.

Он не выделял ни одну из них, а любил всех вместе. Правда, он выделял их качества, и скорее даже любил эти качества, чем их самих. В одной ему нравилось, как она ела: изогнуто, выпятив бочок и обречённо сложив ручку. «Как всё равно мочится или отвечает урок», — думал он. Другая нравилась ему, когда спит. «Как зародыш», — говорил он себе.

Но особенно нравилось Ване, когда кто-нибудь из них читал. Он тогда вглядывался в лоб этой девушки и начинал любить её мысли. «Небось о том свете думает», — теплело у него в уме. Уставал он

только сосредотачиваться на какой-нибудь одной. Поэтому очень легко ему было, когда они все ходили. Вся душа его тогда расплёскивалась, пела, он любил их всех сразу и в такт своему состоянию тихонько выстукивал задом по карнизу.

«Ну хватит. Побаловался», — так говорил он себе под конец и спускался вниз. Дважды его вечера были несколько необычны: он чувствовал в душе какую-то странность, воздушность и зов; еле-еле забирался вверх; и нравились ему уже не тела девочек, а их длинные, шарахающиеся тени; подолгу он любовался ими, иногда зажмуривал глаза.

Так продолжались целые годы. И целые годы были как один день. Иногда только мать поколачивала его.

Однажды Ваня полез, как обычно, на четвёртый этаж к своим девочкам.

Всё было как прежде: он так же, как всегда, слегка поцарапался о железку на третьем этаже, так же пристроился на карнизе, у окна общежития. Только теперь ему уже стало казаться, что он женат на этих девочках. Но он так же прослезился, когда маленькая студентка в углу уснула, как зародыш.

Но дальше произошло неожиданное: он слишком высунулся и обнаружил себя.

Сначала увидела его толстая вспухшая студентка в очках. Она зловеще закричала. Мгновенно все эти милые существа превратились в фурий. Всем нутром ощутив его беспомощность, они разом подбежали к окну.

Одна ревела, как изнасилованная медведица. Другая хохотала, словно уже давно сошла с ума.

Третья вдруг начала плясать, но как-то по-птичьи. Маленькая студентка выскочила из угла, прихватив утюг.

У Вани оборвалось внутри: словно рухнул весь мир. Дорогие существа обернулись вдруг ведьмами. От ужаса он разжал руки и… полетел вниз.

Часов в одиннадцать вечера жирно-крикливый парень, назначивший свидание во дворе трём бабам, услышал за углом ухнувшее, тяжёлое падение. Он подумал, что упал мешок с песком, и просто так пошёл посмотреть. На асфальте лежало скомканное, как поломанный стул, человеческое тело. Парень признал Ваню, полоумненького. Он был мёртв.

# Голова

**Playboy** 7, 1999

Лена Разгадова, непонятно-красивая молодая женщина, лет двадцати восьми, всегда была достаточно странна, но главная её странность заключалась в том, что она больше всего не людям, а самой себе казалась странной. Поэтому она немного побаивалась себя. Ещё в детстве, случайно увидев себя в зеркале, она порой начинала дико кричать. Сбегались родители, соседи, а она всё кричала и кричала, в ужасе глядя на себя в зеркало. Хотя, казалось, была красива, и вообще никаких ненормальностей в теле не было.

— Такую, как она, я ещё никогда не видала на своём веку, — говорила бабка Агафья.

И действительно, с течением времени выяснилось, что любое наслаждение, даже сексуальное, вызывало у неё тоску. Правда, Лена тщательно скрывала это от посторонних. Вообще она старалась, чтоб её своеобычность существовала только для неё самой, а не бросалась в глаза окружающим.

Но это состояние тоски вошло в неё, и она очень дорожила этим своим качеством. После какого-нибудь полуслучайного соития она, бывало,

тут же впадала в тоску и целыми днями потом пьянела от этого состояния, не желая, чтоб оно уходило. Поэтому и тянулась к людям.

С годами она немного свыклась сама с собой. Уже не так кричала, когда видела себя в зеркале. И часто раздумывала, почему она такая появилась на свет. Ей иногда казалось, что делает такой её собственная проекция, направленная в потусторонний мир. Реже ей чудилось, что скорее она сама, какая она есть на этом свете, — только тень самой себя, находящейся в потустороннем мире, и ей становилось жутко оттого, что большая часть её сознания находится в другом мире и распоряжается ею по своей воле.

Бросившись на диван, она плакала тогда от этих мыслей. Мужчины любили её за красоту, но пугались изменчивости этой красоты, вдруг иногда, даже во время страстных поцелуев, превращающейся в нечто безобразное и хаотичное — это было видно по лицу.

С возрастом глаза её становились всё глубинней и глубинней, наполняясь на дне влагой и темнотой.

Муж её бросил сразу же после того, как увидел её сидящей перед зеркалом с ножом в руке; нож был близок острием своим к её нежному горлу, но на лице блуждала улыбка блаженства. Муж, не говоря ни слова, собрал пожитки и убежал.

Тем не менее никаких подозрений в сумасшествии не было, да она и не была сумасшедшей: успешно кончила институт, работала социологом. Но всё больше и больше её увлекала магия

страдания. Она любила смотреть в глаза умирающим, особенно беспомощным животным; нет, она не наслаждалась их безысходностью, наоборот, по-своему жалела их, но главное, почему она тянулась к таким глазам, было всемогущество страдания, которое она ясно видела в них. Она готова была поклоняться этому состоянию нестерпимого почти отчаяния.

И тогда ей казалось, что её проекция в потусторонний мир становилась легче, теплее и даже как-то женственней.

В остальном Лена была почти нормальный человек. Ну, правда, иногда просыпалась по ночам и хохотала от какой-то невероятной беспричинной радости, которая никогда не посещала её наяву. Радость эту она, однако, не ценила.

Реформы 90-х годов её так же, как и всех, задели, она потеряла работу, но в противоположность многим могла устроиться на другую. Но вдруг — благодаря охватившему её целиком состоянию — решила ничему не сопротивляться и плыть по течению. Так будет лучше, по большому счёту, решила она.

Кругом пропадали люди, другие приспосабливались, но она решила идти вперёд — навстречу гибели. Через год продала квартиру и поселилась Бог знает где. Потом, когда ей уже стукнуло двадцать девять лет, деньги почти исчерпались и жила она уже в подвале огромного чёрного неуютного здания не так уж далеко от центра Москвы. Там у неё был угол, ограждённый полуразрушенными кирпичами.

В углу не было зеркала, и она уже не могла кричать, глядя на себя. Зато там было подобие кровати, без подушки, томик Лермонтова, табуретка и нож.

Одежонка на ней поисхудалась, но непонятная красота не исчезла и горела среди лохмотьев, точно подогреваемая какой-то сверхъестественной силой. Но красота не могла спасти её и никогда не спасала — потому что в её красоте было нечто необычное, что пугало людей.

Леночка мало ела, и вся гамма наслаждений жизнью окончательно ушла от неё, как только она потратила деньги и окончательно поселилась под домом. Поэтому она лишилась своей тоски и тосковала о ней.

Друзья ж, бездомные, любили её за незлобивость, но сами уходили всё дальше и дальше — туда, в бестелесный мир.

— Какая я всё-таки, — смеялась порой Леночка у себя на кроватке в подвале. — Всё отдала на ветер. А ведь могла бы выжить. Зато сейчас интересней жить и умереть.

— Как просто и невероятно жить, жить и умереть, — шептала она в темноте своего жилья самой себе. — Провалиться в бездну. Ставить бы такие опыты: жить и умереть. Потом опять возвратиться и умереть, снова жить и умереть — но чтобы нить сознания сохранялась во время провала в бездну.

Она стала думать, как бы иметь смерть в самой себе при жизни, и вскоре заметила, что потусторонняя тень её не возникала больше, словно она

исчезла, и всё стало концентрироваться в её уме и сознании.

И не плакала она уже, бросаясь на кровать, но, просыпаясь среди ночи и шорохов в своей норе, вставала и поклонялась окружающей её тьме.

Но ей не хотелось умирать, потому что она полюбила смерть, полюбила носить смерть в самой себе. И глаза её стали такими загадочными, что и бродячие кошки пугались её, а другие бездомные, ютившиеся где-то по ямам, тоже избегали её. Только порой запах трупов доходил до неё. Но она уже перестала ощущать своё одиночество.

И вот однажды среди обычной ночной тьмы и смертных запахов ей послышался живой человеческий шаг. Она вскочила с постели, не потому, что боялась, а просто не отдавая себе отчёта. Зажегся фонарик, и она поняла, что перед ней человек, мужчина, полный, мощный, но смрад, исходящий от него, доказывал, что он бомж.

Человек неподвижно и пристально оглядел её, потом фонарик погас. Лена молча присела на кровать. Человек подошёл и сел рядом с человеком. Одни.

— Я хочу тебя убить, — услышала Лена из тьмы.

— Как тебя зовут? — спросила Лена.

— Богдан… А ты что, оглохла? Я хочу тебя убить.

— Почему?

— Просто так.

— От злобы?

— Конечно, не от добра.

Лена не испугалась. «А чего бояться, — подумала она. — Умру так умру». Но Богдан почему-то заинтересовал её. Собравшись с мыслями, она проговорила:

— Ты зол на весь мир, да?

В ответ раздался жуткий хохот, похожий на гоготанье бегемота. Она чувствовала, как колышется брюхо Богдана. И этот рёв всё продолжался и продолжался. На этот раз она испугалась. Хохот не кончался.

— Что такого смешного я сказала? — осторожно возмутилась она.

Гогот замолк, и Богдан выговорил:

— Мир я не могу убить, а тебя вот могу.

И он опять загоготал.

Нож лежал далеко в стороне от Лены, в лохмотьях, но у неё ни разу не возникла мысль о сопротивлении.

— Ты многих убил? — вдруг спросила Разгадова.

Ей почему-то показалось, что Богдан опять загогочет, но ответом была тупая тишина. Опять она ощутила тяжёлое и извращённое дыхание Богдана.

— Таких, как ты, ещё ни разу, — наконец медленно выговорил он.

— А другие были кто, мужчины, старики, бабы — кто?

— Всех, кого убивал, я ненавижу. И ещё бы их несколько раз убил.

— За что?

— Ни за что. Просто потому, что живые. Просто потому, что ненавижу.

Снова молчание.

— Ах, Богдан, Богдан, — вдруг заговорила Лена. — А ты знаешь, ведь ты после смерти сразу станешь обитателем ада. На очень и очень долгий срок. Неисчислимый. Это не часто бывает среди людей.

— Ну и что? — был холодный ответ.

— Ты веришь, ты знаешь это?! — с изумлением воскликнула Лена.

— Может быть, и знаю. Ну и что?

Ответ был по-прежнему холоден, твёрд, и, казалось, его произносил уже не человек, а чудовище с далёких миров. Тем не менее Богдан был человеком.

— Хм, это загадочно, — прошептала Лена.

— Ладно, давай спать. Я на этой кровати, а ты где-нибудь в углу.

— Как, ты не хочешь меня зарезать? — удивилась Лена.

— Не хочу. Расхотел.

Непонятным образом Лена обрадовалась.

— Ты меня разбудил, — недовольным тоном проворчала она потом.

— Ничего, выспимся. Лето. Ночи тёплые.

И Богдан лёг на Ленину кровать. Она затрещала. Разгадовой пришлось довольствоваться лохмотьями в углу.

Через несколько часов свет проник в их подземелье. Восходило утро. Ленка проснулась первая — привстала и долго смотрела на лицо спящего Богдана. Да, это был человек лет тридцати пяти,